

Л. П. Мясникова

Известно, что в старости обостряется память к давно минувшим дням. Можно забыть, о чем вчера говорили с другом, но вспомнить, что происходило много лет назад. Действительно, не будь такого феномена, смогла ли бы, например, Анастасия Цветаева так подробно в своих воспоминаниях описывать фасончик платья, в котором она разгуливала в детстве в пансионе в Невшателе, когда ее мама лечилась от чахотки. Но, несмотря на мой достаточно солидный возраст, я не могу обнаружить в себе такую способность. Все, что я помню о своем блокадном детстве, я помнила всегда. Везде. Никогда не забывала...

Недавно по телевидению шла передача о бездомных людях, и на экране возник старый дядька, сидящий на лестничной площадке у батареи парового отопления с кружкой чая, который на вопрос журналистки о бедственном его положении отвечал, что несколько не чувствует себя ущербным. Есть чай, есть теплая батарея, он вполне доволен, и больше ему ничего не нужно.

А я подумала, что, может быть, он не знает или забыл, что в жизни есть что-то еще?

Как не знали мы, дети блокадного Ленинграда, что бывает и другая жизнь, без взрывов бомб, без оглушительно воющей сирены, зазывающей всех в бомбоубежище, без холода и голода, без зажигалок, полыхающих на крышах. И мы были если и не довольны, то во всяком случае находили радости и в такой жизни. «Ура! В шестьдесят первом снаряд взорвался! Бежим осколки собирать!» Этот радостный крик до сих пор звучит у меня в ушах. И мы, совсем малыши, 4–5 лет, сломя голову несемся во двор соседнего дома № 61, чтобы ухватить рваный, еще горячий кусок железа. Кто схватит самый большой и самый горячий, тот и выиграл. И выигравший по-настоящему счастлив. А остывающие осколки разорвавшегося зенитного снаряда пополнят наши коллекции, которыми мы гордимся

и содержанием которых соревнуемся. В них, кроме осколков, лежат огарыши зажигательных бомб, упавшие на крыши наших домов, схваченные бдительными дежурными и засунутые в ящик с песком, где они позорно потухнут, не принеся никакого вреда, и достанутся неугомонным собирателям игрушек войны. В моей коллекции, уж не помню, каким образом (наверно, на что-то выменяла), оказалось нечто подобное часовому минному механизму, угрожающе тикающее, что заставило мою маму ночью выкрасть ящик с моими «игрушками» и... утопить его в Неве. Вот это было настоящее горе! Кстати, и мама после войны жалела об этом: коллекция маленькой девочки, состоящая из 389 зенитных осколков, множества зажигалок, пуль и прочей пакости, которая могла бы занять достойное место в экспозиции блокадного Ленинграда.

Странно, но я вспоминаю блокаду без ужаса. Осознание апокалиптической катастрофы, погубившей большую часть населения Ленинграда, пришло позднее, скорее из рассказов взрослых. В ту пору детским своим умишком объять для нас необъятное мы не могли. Ну, плакали, что есть не давали, ну, мерзли и, как могли, спасались от холода, ну, коленки иногда подги-

бались от страха, когда неожиданно близко разрывалась бомба, но главной причиной, отчего блокада не выжгла в душе незаживающий след, было, наверно, то, что никто в нашей семье не умер и мы всегда знали, что с нами взрослые, и чувствовали себя в какой-то мере защищенными от большого неуютного мира.

В силу малости лет воспоминаний о мирной жизни практически не было, а если и были какие-то представления, то они зарождались в голодающем мозгу, типа: мир, это когда можно есть столярного клея столько, сколько хочется, или, почему-то: мир – это арбуз. Наверно, довелось попробовать до войны, и вкусовая память о чем-то божественно-сладком, истекающем прохладным упоительным соком, осталась в подсознании. Были, правда, и другие «мирные» воспоминания: тревожный звук электрического звонка ночью, а потом счастливое лицо дедушки, просывающегося в щелку двери, и его жаркий шепот: ничего страшного! Мы просто горим... (Имелся в виду, конечно, возможный арест). Это тоже мир...

Ну, а теперь по порядку. Так всегда просила мама: «Только рассказывай по порядку»

Почему мы (наша семья) не уехали в эвакуацию?



Как мне потом рассказывали родители, идея покинуть Ленинград сначала никому в голову не приходила. Наоборот, жители Новгорода, Пскова, окрестных деревень, к которым уже подходили немцы, потянулись в Ленинград в надежде спастись в большом городе. Война началась летом, когда очень многие семьи жили на дачах под Ленинградом. Мы тоже в июне жили на даче в Пушкине, и родители мгновенно привезли нас оттуда. Так что сначала было движение не из Ленинграда, а в Ленинград.

Не очень интенсивная эвакуация началась только к концу лета. Первыми, кого было решено увезти подальше вглубь страны, были «организованные дети», которые были в детских садиках. Сейчас мне трудно представить, как родители решались расставаться с детьми и вручать их на попечение воспитательницы детского садика. Но большинство пап ушло на фронт, мамы все работали. Выхода на самом деле не было. Муж мой, тоже блокадник, рассказывал мне, что в июле месяце 41-го года он с братом был в эшелоне, который вывозил детей из Ленинграда. Они попали под бомбежку, было много убитых и раненых. К счастью, этот эшелон сопровождала его мать, детский врач, с которой они с большим трудом вернулись обратно в город, в начинающуюся блокаду.

Мы (мой брат-близнец, Леонид, в детстве Лелька, позже называемый Леха, и наша старшая сестра Марина, которой было уже 10 лет) были детьми «неорганизованными», поэтому первая эвакуация нас не охватила. Потом началась эвакуация заводов, которые было решено перебросить подальше к Уралу. С заводчанами уезжали и их семьи. Осенью, когда начались интенсивные бомбежки, немцы подходили все ближе и ближе, а особенно после пожара на Бадаевских складах, когда стало ясно, что продовольствия в городе будет не хватать, началась эвакуация многих учреждений и институтов. Папа с мамой работали в Ленинградском технологическом институте им. Ленсовета. В принципе, мы должны были эвакуироваться вместе с семьями сотрудников Техноложки, как ее в просторечии называли. Но наша семья заняла бы слишком много места (мама и трое детей), и нас вычеркнули из эвакуационных



Май 1941 года. Наша семья перед войной: мама с папой, старшая сестра Марина (10 лет) и мы с Лелькой (я слева, он справа), три с половиной года; нам исполнится по четыре года 1 ноября

списков. Папа наш, Петр Григорьевич Романков, со временем ставший заместителем директора ЛТИ по научной части и проработавший в этой должности 30 лет, до конца своих дней не мог простить институту, что он готов был обречь его семью на голодную смерть.

Почему с нами остались бабушка и дедушка, я не знаю. Теперь и спросить не у кого. Дедушка наш, Николай Николаевич Давиденков, заведовал лабораторией в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе, большинство сотрудников которого были вывезены в Казань. По совместительству он заведовал кафедрой физики металлов на физико-механическом факультете в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина, который тоже был эвакуирован, но позже и очень неудачно. Политехник был эвакуирован в Пятигорск в апреле 1942 года. Путь был очень труден и продолжался три месяца. Эшелоны были переполнены, железные дороги, частично разбомбленные, не справлялись с таким количеством поездов. Вместе с Политехником эвакуировался и Ленинградский электротехнический институт. Осенью стало ясно, что Пятигорск может быть вскоре захвачен немцами. Директор Политехнического института Борис Евдокимович Воробьев и директор Электротехнического института решили поехать в Тбилиси, где было сосредоточено руководство, чтобы посоветоваться, что делать в такой

ситуации. Но... оба они были там же и расстреляны по обвинению в панике (!). Наши старшие об этом знали. Борис Евдокимович не был далеким для них человеком. Это был муж тети Нины, первой жены дедушкиного брата Сергея Николаевича Давиденкова, с которым вся семья поддерживала дружеские отношения. В одном из дедушкиных военных писем я нашла фразу, спрятанную между других малозначащих описательных предложений... «Очень жаль Бориса Евдокимовича. Чудный был человек» (вот и гадай, военная цензура, кто это Б. Е. и что с ним случилось, может быть, от голода умер...)

Дедушка мог, наверно, уехать и с Физтехом, и с Политехником. Думаю, что бабушка с дедушкой не предвидели того, что придется пережить, и просто не хотели оставлять в осажденном городе своих детей с семьями: маму нашу, Людмилу Николаевну Романкову, с нами (тремя детьми), и сына, Ростислава Николаевича Давиденкова, с женой Натальей и двумя детьми – Мишей, нашим ровесником, и Кириллом – ровесником Марины). Тем более, что запасливая, очень организованная и строгая бабушка наша, Любовь Михайловна Давиденкова (баба Люба), была хорошо подготовлена к предстоящей зиме – в деревянном сарае было 20 кубометров отличных березовых дров, закупленных еще в мае, как только было сожжено последнее полено, а в стенном шкафу были съестные припасы.

Ни папа, ни дядя Слава в армию призваны не были – на них, как на инженеров, распространялась бронь, и они продолжали трудиться на своих рабочих местах. Папа должен был разработать технологию производства соевого молока из сои (по счастливой случайности, огромный пароход с грузом сои застрял в ленинградском порту), и соевое молоко, которое довольно скоро стали получать по разработанной под руководством папы технологии, спасло жизнь немалому количеству детишек. После войны эта работа даже была представлена на соискание Сталинской премии, но премию почему-то не дали.

Следует сказать, что, несмотря на самое активное участие папы в этом производстве, никаких побрякушек ему и членам его семьи не делалось. Молоко мы это и не пробовали. Дисциплина на производстве была строжайшая. Единственное, что папе иногда удавалось, – это вынести во внутреннем кармане пиджака 2–3 горошины. На выходе всех тщательно обыскивали. Не помню, чтобы я ела когда-нибудь эти горошины. Помню только, что в тарелке с тем, что называлось супом, иногда плавало какое-нибудь одно зернышко. Погоды оно не делало.

Шансов выжить у нас, казалось, действительно было маловато. В эту первую блокадную зиму дед превратился в сущего дистрофика, дядя Слава тоже, у папы начался эксудативный плеврит, у Лени развился туберкулезный бронхоаденит, а у меня от голодовки был кровавый понос. Мама была в отчаянии. Поскольку ходить пешком через весь город в Техноложку, как делал папа, у нее не было сил, да и нас она боялась одних оставить, она устроилась работать медсестрой в детскую районную больницу, которая находилась на той же улице Чайковского. Впоследствии она организовала там биохимическую лабораторию, в которой и проработала потом всю жизнь. В больнице делали анализы грудного молока рожениц, которым потом подкармливали сосунков, потерявших мать. Оставшиеся на стенках пробирок капли мама аккуратно собирала в одну пробирку и приносила домой, в надежде спасти этим молоком меня. Набиралось миллилитров десять. Но мне это молоко почему-то было

глубоко противно. Оно было сладковатое на вкус, и как только мама в меня его вливала, у меня начиналась неукротимая рвота. Мама рыдала, я редела... И так каждый день. В результате мама оставила свои бесплодные усилия. Единственно, на что она еще надеялась, это белые сухарики, которые она еще до войны сушила из недоеденных корочек в сушильном шкафу в лаборатории Технологического института, где она тогда работала. У нее было предчувствие войны и голода. Она давала мне их в день по одной штучке и, протягивая последнюю, мысленно со мной распрощалась. Но именно с той последней корочкой понос прекратился. Потом я с наслаждением трескала столярный клей и действительно думала, что мир – это когда можно есть столярного клея столько, сколько ты хочешь.

Зима 1941–1942 года была самая тяжелая. Бесконечные налеты, вой сирен, предупреждающих о подлете немецких самолетов, сидение в бомбоубежищах. Я их ненавидела. В подвал под нашим домом набивалось огромное количество людей. Стояла напряженная тишина. Постепенно становилось все более и более душно. Запас воздуха «выдыхивался» очень скоро. Я начинала задыхаться. А вокруг разговоры о людях, погребенных под развалинами домов. Мне все время казалось, что вот-вот снаряд попадет в наш дом, все рухнет и мы будем заживо погребены. Сердчишко мое начинало учащенно биться. Какое счастье было снова очутиться на улице после отбоя воздушной тревоги. Смерть от удушья представлялась страшнее всего на свете. На всю жизнь у меня осталась боязнь замкнутого пространства. Ненавижу лифты, ни за что не полезла бы в пещеры. От клаустрофобии страдают, по-моему, все бывшие блокадники. Как-то во время горнолыжной поездки в Польшу нам предложили посетить знаменитые соляные копи под Краковом. Перспектива спуститься глубоко под землю меня повергла в ужас. Другой участник нашей команды смертельно побледнел и категорически отказался лезть в клеть. Конечно, он оказался таким же блокадником, как и я.

При каждой новой тревоге я начинала ныть и просить разрешения остаться дома. Но нас неумолимо во-

локли в подвал. Однажды, когда мы бежали туда, и я распахнула дверь с лестницы во двор, прямо перед нами в дровяные сараи упала зажигательная бомба, осветив нас слепящим светом. «Мамочка, – редела я, дрожа от страха, – давай не будем больше ходить в бомбоубежище! Можно и по дороге к бомбоубежищу попасть под бомбу!» Мама и сама уже задумывалась о бесполезности сидения в бомбоубежище. Насколько я помню, после того раза никто из нас в бомбоубежище не ходил. А мы с братом, заслышав сигнал воздушной тревоги, прятались в стенном шкафу, в твердой уверенности, что точно в шкаф попасть нельзя.

Взрывной волной от снаряда, упавшего перед нашим домом, выбило все окна в нашей комнате, выходящей окнами на улицу. Мы не успели по совету бабушки заклеймить их полосками бумаги крест-накрест, что препятствовало прорастанию трещин, образующихся от попадания мелких камней и осколков, и не давало стеклу разбиться вдребезги. Кстати, совсем недавно я наткнулась на бабушкину статью на эту тему, опубликованную во время войны ЖЭТФ. Потом многие семьи начали заклеивать таким образом свои окна. Наши же окна мы забили фанерой, и в ту комнату больше не ходили. Все жались ближе к кухне, где стояла старая чугунная плита, которую мы еще топили оставшимися у нас дровами. Вообще-то в каждой комнате раньше было по печке, но из экономии мы поддерживали видимость тепла только в одной комнате. Морозы стояли зверские. В ту зиму температура опускалась чуть ли не до минус 40 °С. Не стало ни электричества, ни воды. Первое время еще можно было достать воду в прачечной, которая находилась в нашем доме на первом этаже. Говорят, что там была вода потому, что наша магистраль шла от Смольного, а там было все: и тепло, и вода, и еда. Но потом почему-то эта жила кончилась, и бабушка или папа ходили с саночками за водой на Неву. Город был завален снегом, и к Неве были протоптаны тропочки, которые были сплошь ледяными из-за проливавшейся из ведер воды. Нас ходить за водой не брали, а Марина помнит, как она сопровождала взрослых в их походах за водой. Какое-то количество воды получалось из растопленного снега.

Поскольку канализация тоже перестала работать, то у нас в центре двора выкопали большую выгребную яму, куда сливали все экскременты. С моего детского взгляда она была колоссальных размеров, и я очень боялась туда упасть. Теперь на этом прекрасно удобренном месте растут разнообразные кусты, пышно цветет шиповник, и жители дома, поселившиеся в нем после войны, не понимают причину их буйного роста.

Днем мы с братом были предоставлены сами себе и вместе с другими дворовыми детьми находили себе дворобразные развлечения. О погоне за горячими зенитными осколками я уже упоминала выше. Другим не менее интересным занятием были «раскопки» на месте разбомбленных поблизости домов. Помню обрушившуюся стену соседнего дома и кучи битого кирпича вперемежку со всякой домашней утварью. Моей самой классной находкой были несколько очаровательных хрустальных солонок, блеснувших неожиданно своими гранями среди всего этого разора. Они до сих пор стоят у нас в буфете и ставятся на стол по большим праздникам. Другим довольно опасным занятием, которому мы предавались уже в следующую зиму, было лазание по крышам деревянных сараев, построенных в годы советской власти на месте бывших каретников. Сарай были построены в два ряда друг напротив друга и разделены довольно узким проходом, дававшим возможность пройти одному человеку с вязанкой дров. Расстояние между их крышами было небольшим, но для того чтобы нам перепрыгнуть с крыши на крышу, требовалась смелость и сильные ноги. В начале войны сила у нас еще была. Мы много бегали, гоняли по двору пустой консервной банкой в футбол, в общем, были, как тогда называлось, настоящими огольцами. Я помню ужас, который меня обуял на краю крыши сарая, с которой надо было перепрыгнуть через проход на другую сторону. Я была одна девчонка. Мальчишки смотрели на меня выжидательно, а брат просительно. Надо было непременно прыгнуть, чтобы его не подвести. И я отчаянно сиганула с одной крыши на другую. Слава богу, не сорвалась и побежала дальше

вместе с ними, как будто ничего сверхъестественного не произошло. Но внутри все ликовало из-за победы над собой. Может быть, мое не очень разумное поведение в дальнейшей жизни обусловлено неизбывным желанием вновь насладиться этим чувством. Из-за этого я прыгала с трапеции, лазала по скалам, спускалась на горных лыжах по черным трассам, каталась на коньках по только что вставшему льду, каталась на виндсерфере, пробовала освоить сноуборд и прочее и прочее. А корни этого довольно опасного поведения лежат там, в моем блокадном детстве.

Но вернемся к деревянным сараям. В одном из таких сараев хранились наши дрова. Некоторые тоже были полны дров, другие же стояли пустыми. Странно, но у нас дрова не украли, в отличие от обворованного в первые же холода сарая семьи моего мужа, жившего на Петроградской стороне. В нашем доме жили очень порядочные люди. Со всеми жильцами на нашей лестнице родители поддерживали дружеские отношения. Выше нас жил Натан Ефимович Перельман, известный пианист и преподаватель консерватории, в другой квартире жила Ада Евсеевна Гуревич с семилетним сыном Сережей. Ада Евсеевна была убежденная и честнейшая коммунистка, которая пыталась наладить взаимопомощь и организовать наш блокадный быт. Рядом с Гуревичами жили Божички с дочкой, которую тоже звали Мариной, ровесницей моей сестры. Еще выше Василиса Осиповна Лискиер с двумя дочками-двойняшками, Ниночкой и Люсей, которые были на год младше нас. На первом этаже жил заведующий детской больницей, в которой стала работать мама, Николай Васильевич Лебедев. Все приходило к нам за кипятком и пили его пустым, просто так, чтобы согреться изнутри. Натан Ефимович эвакуировался вместе с консерваторией за два дня до начала блокады, а все остальные жильцы так и прожили всю блокаду бок о бок и, как ни странно, все выжили, умерли только три старушки из квартиры напротив нашей. То ли этот кусок нашего дома был теплее, то ли люди были дружнее и помогали друг другу. В общей сложности наш дом потерял за первую блокадную зиму 60 человек.

Голод, конечно, постоянно присутствовал в подсознании. Помню, что по радио передавали повесть Николая Чаковского «Зеленые цепочки», в которой описывалось, как наши разведчики выслеживали немецких шпионов, запускающих с чердаков домов зеленые ракеты. Они указывали ими объекты, которые надо было бомбить в первую очередь. В одной из передач рассказывалось, что наши разведчики обнаружили следы их пребывания в каком-то подвале, где были окурки иностранных сигарет и ящик с изюмом. Долгое время этот ящик не давал мне покоя. Я жаждала узнать судьбу изюма, точнее, выяснить, кто его съел, и с нетерпением ждала следующей передачи. До сих пор даже помню фамилию человека, обнаружившего этот ящик: капитан Тарараскин! Но ни в следующей, ни в какой другой передаче про изюм не было сказано ни слова. Сколько лет прошло, а меня до сих пор мучает этот вопрос, что же стало с изюмом? Другой случай, который показывает, какой глубокий след оставил во мне голод, это послевоенная встреча с моим дядей. Дело в том, что после страшной первой блокадной зимы дядя Слава, чтобы спасти себя и свою семью, специально перешел из Гидротехнического института, в котором он работал, в Политехнический институт, который должен был быть вскоре эвакуирован в Пятигорск. Как я уже писала, довольно скоро после их прибытия в город туда вошли немцы. След дяди Славы исчез. Долгие годы мы думали, что все они погибли. Моя бабушка так и умерла с мыслью о том, что ее любимого сына нет больше на белом свете. Здесь не место рассказывать о трудных судьбах наших соотечественников. Скажу только, что как перемещенные лица они оказались в Германии в зоне англо-американской оккупации, но по понятным причинам не пытались наладить с нами связь, понимая, насколько это опасно для родственников, живущих в СССР. Однако в годы хрущевской оттепели ситуация изменилась, и в один прекрасный день сначала тетя Наташа с мальчиками, а потом и дядя Слава появились у нас на Чайковской.

Прошло 20 лет! Казалось бы, я не должна была помнить дядю. Но я его мгновенно узнала. И в от-

вет на его вопрос, помню ли я его, рассказала, что у меня в памяти запечатлелась картина: я вхожу в нашу темную комнату, в которой мы тогда все ютились, а он лежит на раскладушке и смотрит на меня, красивый худой человек с прекрасными глубокими глазами.

Дядя действительно был очень красив, и в Карлсруэ, где он работал и стал профессором, его звали Schoene Russe. Поразительно, но дядя помнил этот же момент. Оказалось, что он в это время жевал причитающуюся ему скудную пайку хлеба, стараясь растянуть этот процесс. Когда я вошла в комнату и кинула на него голодный взгляд, он испытал танталовы муки стыда из-за того, что он, взрослый, должен был бы отдать ребенку оставшийся у него крохотный кусочек хлеба, но не мог заставить себя сделать это. Так вот мы и пронесли через всю жизнь в памяти свои скрестившиеся голодные взгляды.

Я не совсем права, говоря, что наша семья не понесла потери. Папочка мой потерял обоих родителей. Просто мы жили отдельно от них, и их уход из жизни нас не коснулся. Папина мама Елизавета Николаевна эвакуировалась в город Юрьевец, с младшей дочкой Анной Григорьевной и ее сыном, где она довольно скоро скончалась. Папа горько плакал. Марина говорит, что это был первый случай, когда она увидела плачущего отца, и это ее так потрясло, что эта картина осталась у нее перед глазами на всю жизнь.

Дедушка Григорий Иванович остался в Ленинграде, чтобы «сохранить квартиру». Надо сказать, что во время блокады особенности характера людей проявлялись с какой-то особенной силой, а у Григория Ивановича, конечно, были свои «фобии», приобретенные после революции, когда из него «выпаривали» деньги. Мне рассказала об этом мама уже после «перестройки». Тогда я с удивлением узнала, что папа родился вовсе не в Ейске, как я писала всегда в анкетах, а где-то на Урале, где у его отца был маленький красильный завод, дела которого шли столь успешно, что дедушка Григорий Иванович скопил заметную сумму денег, переехал в Петербург и хотел отправить детей учиться в Швейцарию. Тут грянула революция. Пришлось срочно со-

чинять себе другую биографию. Но про денежку кто-то прослышал. Его вызвали в ЧК. Дед отказывался, клялся-божился, что денег у него и в помине нет, но его привязали за запястья над чаном с кипящей водой и обещали отпустить, как только он скажет, где деньги. Способ был известный и распространенный. Не знаю, на сколько часов хватило у Григория Ивановича выносливости, но деньги он все отдал. С тех пор дедушка дрожал за жалкие остатки пожитков, которые у него оставались. Потому и из Ленинграда не уехал, чтобы их сторожить. Жить одному было очень тяжело. Папа был очень преданным сыном. Решив, что отец один не выживет, он привез его к нам на Чайковскую. В какой-то момент времени Григорию Ивановичу взбрело в голову, что оставшиеся вещи надо пересыпать нафталином, и он заставил голодного усталого папу после работы сопровождать его в старую квартиру. Там он совсем обессилен и не мог идти. Папе пришлось везти его домой на саночках, которые где-то с трудом раздобыл. Упрямый старик опять туда отправился, упал и сломал ногу. Старшая папина сестра, Мария Григорьевна, которая работала начмедом в областной больнице, положила его к себе на отделение, где он вскоре скончался от воспаления легких. Нам, детям, об этом не сказали...

Теперь много говорят о том, что в блокадном Ленинграде процветал каннибализм. Может быть это и так. Отдельные редкие случаи на самом деле, наверно, были. На черном рынке, который существовал во время блокады, можно было выменять на ценные вещи какую-то еду. (Некоторые ушлые люди смогли во время блокады собрать весьма ценные коллекции...) Ходили слухи, что в каких-то котлетах попались детские ноготочки, что и дало основание полагать, что детей могли убивать и есть. Во всяком случае, это очень напугало маму. Ведь мы целый день были предоставлены самим себе, бегали по улицам, могли в конце концов и заблудиться. На наши детские ватнички, в которых мы гуляли, срочно были пришиты белые тряпочки, на которых химическим карандашом были написаны наши имена и адрес, чтобы нас могли привести домой, если бы мы потерялись. Ясно, что никто нас не стал бы

спасать и кормить. Уже после войны я специально расспрашивала маму о справедливости подобных слухов. Но она утверждала, что это были только слухи и ни о каких подобных случаях ей доподлинно неизвестно. Кошек и собак в городе съели мгновенно, это факт, а вот людей... Свою кошку мы в начале войны выменяли на батон, отдав ее в булочную, где она должна была бороться с крысами, которых расплодилось великое множество. Крысы эти были большие, злобные, совсем непохожие на милых маленьких полевок, которые бегают в деревенских домах. 14-летний сын нашей знакомой врачихи Анны Степановны, которому сделали операцию аппендицита, умер в больнице от разрыва сердца, когда ночью на запах крови к его ране подобралась крыса. Анна Степановна была детский врач, милейшая и добрейшая женщина. Уже после войны она всегда приходила к нам, когда кто-нибудь из нас заболел. Лечила всех детей, никогда ничего не брала, не принимала никаких подарков. Говорила, что она получает за свой труд зарплату, а если ей что-нибудь дарить, то ее лечение не поможет. Светлый человек была Анна Степановна. Лечила нас, и наших детей, и даже внуков. А я всегда смотрела на нее и думала, как же она может жить с памятью о такой ужасной смерти своего собственного сына.

Чтобы мы не заболели цингой, мама заставляла нас пить воду, настоянную на еловых иголках, в которой, как считалось, должен был содержаться витамин С. Вода была зеленоватого цвета, со смолистым запахом и довольно приятная на вкус. Так что пили мы ее с удовольствием. Но вот что я органически не терпела, это рыбий жир, который мама где-то достала и заставляла нас принимать по ложке в день. Мне с трудом удавалось подавить рвотный рефлекс, зажимая нос.

Хлебный паек становился все меньше и меньше, и дедушка совсем ослабел. Физико-технический институт, в котором он работал, и его лаборатория были вывезены в Казань. Дедушка отказался уехать. Старался сохранить семью, боялся, что с его отъездом наши шансы на выживание уменьшатся. Поскольку дедушка был действительный член Украинской академии наук, он имел академический паек. Получать этот

паек в Доме ученых и приносить его домой была обязанность бабушкиной сестры Веры. Давали некоторое количество жидкой похлебки, которая делилась на всех домашних. А было нас девять человек. Как говорится, не густо, но все же это была весомая добавка к нашим пяти иждивенческим карточкам. Кроме дедушки рабочие карточки имели только папа с мамой. Дедушка сидел дома и писал книгу по своей специальности. Говорил, что когда он работает, то меньше чувствует голод. Как мне уже потом стало известно, в 1943 году он получил за свои труды Сталинскую премию.

Надо сказать, что мужчины почему-то переносили голод хуже, чем женщины. То есть женщины тоже слабели, выбивались из сил и умирали, но мужчины шли ко дну быстрее. Моя бабушка, которая любила своего мужа больше всего на свете, решила, что его надо спасать и попытаться выбраться, как тогда говорили, на «Большую землю». Сделать это можно было двумя путями: по Дороге жизни, то есть по льду Ладожского озера, или на редких самолетах, которым удавалось иногда проскакать невредимыми. Оба варианта были достаточно опасны. Немцы бомбили Ладогу, и нередко грузовики с людьми уходили под воду. Иногда грузовики проваливались под лед, который был очень толстый, без всякой видимой причины. Шла колонна грузовиков, под которой вдруг разламывался лед, и люди тонули. Надо сказать, что в причине этого довольно скоро разобрались оставшиеся в городе сотрудники нашего Физико-технического института с помощью остроумного прибора, который они назвали Прогибограф. Они установили на льду П-образную штангу с привязанным в середине грузом, измеряли изменение расстояния груза до поверхности льда при прохождении грузовиков и выяснили, что при движении колонны со скоростью 50 км/час собственные колебания льда входят в резонанс с вынужденными колебаниями, создаваемыми движением машин, что и приводит к разламыванию льда. После чего всюду были установлены щиты с надписями, предупреждающими о недопустимости ехать со скоростью 50 км/час, и непредсказуемые аварии прекратились. Но

бомбежки и жуткий холод остались. Люди ехали в грузовиках с брезентовым верхом, который спасал от ледяного ветра, но не от мороза. Для ослабленных голодом людей такое путешествие было достаточно опасным, но все-таки это был шанс на спасение. (Надо сказать, что совсем недавно мой сын в компании с французами преодолел зимой весь этот 30-километровый путь по Дороге жизни от Ладоги до Кобоны на виндсерфере (доска с лыжей под парусом), пытаюсь прочувствовать хоть в какой-то мере все трудности этого пути. Это тоже было довольно непросто. Была непогода, никакой видимости. Тогда еще не было приборов ориентации по системе GPS, и мы ужасно переживали, боясь, что они заблудятся. К счастью, все кончилось благополучно.)

В городе составлялись списки жителей для эвакуации по Дороге жизни и для эвакуации на самолетах. Дедушкины сотрудники звали его в Казань, в то же время работавшие в Москве прочистки предлагали ему прислать вызов от ВИАМа (Всесоюзного института авиационных материалов). Было решено, что они сначала поедут в Москву, а потом постараются вытребовать туда и нас. Путь по Дороге жизни дедушка не перенес бы. Они решили лететь. Улетали обычно ночью, когда вероятность попасть под обстрел вражеских зениток была минимальна. Мы спали, когда они покидали нас. И о прощании с ними я знаю только со слов мамы, которая рассказывала, что бабушка присела к ней на кровать и мама спросила: «Мамочка! А что же будет с нами?!» «Надейся на чудо», – сказала бабушка, и они улетели. Тогда их отъезд нас, детей, особенно не опечалил. Бабушка была очень строга, не допускала никаких вольностей, не позволяла, как она говорила, «протирать время», требовала, чтобы мы все время были «при деле» – учились читать, рисовали, играли в какие-нибудь развивающие игры. Дедушка занимался с Мариной арифметикой, мама – русским. Ведь если первое время школы и пытались работать в бомбоубежищах, то потом они все-таки закрылись, а бабушка с мамой считали, что надо пройти с Мариночкой курс третьего класса школы, чтобы не пропустить год, когда начнется нормальная жизнь.

Забегая вперед, скажу, что, когда в 43-м году школы возобновили свою работу, Марина, прекрасно сдавшая экстерном все предметы за пропущенное время, пошла сразу в четвертый класс. Бабушка неуверенно следила за занятиями. Так что ее отъезд сулил нам больше вольностей. Но справедливости ради надо сказать, что благодаря ее настойчивости мы уже в четыре года умели читать. Поступив после войны в первый класс, я совершенно не понимала, почему надо читать отдельные слоги, и когда меня вызвали к доске, чтобы прочесть вынито отдельно и с трудом, как делали все дети: АМ, АМ, АУ, УА, УМ я выговорила скороговоркой «умамаауауау» и получила двойку. Это меня так потрясло, что я помню эту последовательность слогов до сих пор.

Если нам, детям, присутствие бабушки и дедушки не было таким уж необходимым, то маме было, наверно, ужасно тяжело остаться без родителей. Все мы в крайние минуты жизни ищем спасения у родителей. Я с ужасом представляю сейчас, что могла чувствовать мама, оставшаяся с тремя детьми, которых нечем было кормить, в холоде и темноте, с ежедневной тревогой за мужа, который мог уйти на работу, попасть под обстрел и не вернуться домой.

Мама очень не любила вспоминать блокаду, не могла даже читать «Блокадную книгу», не хотела ничего рассказывать.

Недавно моя 97-летняя тетя (дочка бабушкиной сестры, которая воспитывалась в нашей семье и была очень всеми любима) передала мне целую пачку писем, написанных моим дедушкой во время блокады. На неискущенного читателя они могут произвести не совсем адекватное впечатление своим излишне оптимистичным тоном. Но писались они с учетом того, что все письма перлюстрировались. Маленькие треугольнички (конвертов не было) со штампом «Проверено военной цензурой». За панические настроения или критику властей могли и посадить, и расстрелять. Но иногда письма передавались с «оказией», и тогда через осторожность прорывались слова: «Родная наша девочка, не сокрушайся, что ты уехала из Ленинграда, оставив нас. Вторую зиму вам было бы не пережить».

Дедушке с бабушкой тоже было бы ее не пережить. Такое счастье, что мне удалось уехать...

А в папином письме, написанном, когда мы уже остались одни, мне попала фраза: «Мы стараемся быть ко всем ласковыми и доброжелательными, но внутри все дрожит и нервы напряжены до предела...»

Но жизнь продолжалась. Забились в одну маленькую комнату при кухне. От голода ослабели и хотелось спать. Днем мы все втроем лежали в обнимку в кровати, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Темнело. Ждали с нетерпением прихода мамы. Она возвращалась с работы и давала что-то поесть. Чаше всего это были шроты или дуранда, довольно безвкусная масса, которая все же как-то наполняла желудок. Деликатесом был столярный клей. Но его давали очень понемножечку. Иногда приходили посылки от бабушки из Москвы, который делился с нами своим академическим пайком. В них бывала головка чеснока, витамин С, наверно, что-то еще. Во всяком случае, чеснок и витамин С были точно, потому что в Физтеховском архиве хранится мое письмо из Ленинграда, написанное дедушке, где я уморительно благодарю его за «чИсок и Оскорбиновую кЕслогу».

Надо сказать, что мама, продолжая линию бабушки, тоже старалась, чтобы мы не «протирали» время попусту. При тусклом свете крохотной трехвольтовой лампочки, запитанной от аккумулятора, по вечерам мама читала нам вслух Пушкина, «Большие надежды» Диккенса, «Маленькую хозяйку большого дома» Джека Лондона. Затаив дыхание, мы слушали мамино чтение, и окружающий нас голодный и холодный мир куда-то отступал. Мы были захвачены переживаниями других людей и жили, как теперь бы сказали, в виртуальном мире. Это спасало нас от жестокой реальности. Маринка даже писала роман, в котором действовали рыцари и принцессы. Вообще дома старались не нагнетать обстановку, не причитать, не ждать худшего, стараться жить нормальной человеческой жизнью.

В этом стремлении не сдаваться и упираться изо всех сил мы были не одиноки. Окруженные со всех сторон немецкими войсками, взявшими

город в блокаду, ленинградцы продолжали жить, работать, творить. Общеизвестно, что Шостакович написал свою удивительную Седьмую симфонию в блокадном Ленинграде, а едва передвигающие ноги люди пришли в Филармонию послушать ее первое исполнение. Известно, что Павел Филонов продолжал в блокаду рисовать свои загадочные картины, в которых зарисован каждый миллиметр и перед которыми можно стоять часами и находить в них все новые и новые детали. Голод не пощадил его, и он умер зимой 42-го года, но сестра его спасла картины брата и хранила их до тех пор, пока запрет на «несоциалистическое» искусство был снят. Выставка работ Филонова произвела эффект разорвавшейся бомбы, настолько мощно заявил о себе этот великий художник. А я стояла перед его картиной и пыталась представить себе, как он рисовал ее, голодный, умирающий в полуподвальном ледяном помещении на улице Литераторов Петроградской стороны. Какая же сила духа была в этом человеке!

В день смерти Пушкина нашлись люди, которые все же «приползли» в его квартиру на Мойке, 12, и, как было заведено, читали его стихи.

Первая блокадная весна привела всех в движение. Была объявлена мобилизация по уборке города. Оставшиеся в живых люди, которые еще могли двигаться, убрали с улиц мертвецов, хоронили их в братских могилах, приводили в божеский вид город. Повестки с вызовом на эти работы получали многие иждивенцы. Такую повестку получила и бабушкина сестра, тетя Вера, которая проработав две недели, получила за это рабочий паек, который был в два раза больше иждивенческого. Это было неплохим подспорьем. Сама бабушка, увы, работать уже не смогла.

Везде, где только возможно, сажали огороды. Мы получили клочок земли на Марсовом поле, где посадили картошку и морковку. Увы, когда пришло время выкапывать урожай, кто-то нас опередил. Помню это чувство бессильного гнева при виде разрытой земли и опустошенных грядок. Но ничего поделать уже было нельзя. Все же лето принесло много новых возможностей – мы бегали в Таврический сад, который находился через несколько домов



1944 год. Мы отъелись и обнагтели

от нас, и поедали там все, что было возможно. Лебеда была горькая, и мне она не нравилась, хотя я ее все равно ела. Из лебеды варили суп. Роскошные супы получались из крапивы. Все как-то перевели дыхание. Вторая зима была легче первой. Хлебный паек немножко увеличили. Можно было заготовить дрова. Но обессилевшие за первую зиму люди продолжали умирать...

Мои блокадные воспоминания сливаются воедино, один день неотличим от другого, и мозг выхватывает только отдельные события, как будто освещенные вспышкой моментальной фотографии. Наконец прорвана блокада!!! А потом и полностью снята!!! Это уже зима 44-го года. Мы подросли. На фотографии этого времени мы с братом сидим в нашем дворе на поленнице дров в пальтишках, из которых мы уже выросли. Я прижимаю к себе единственную игрушку, которая у меня была, – собачку Тобика. Тобик заношенный, затасканный, но самый любимый! Единственный! Я не хочу брюзжать и восставать против изобилия игрушек, которые есть у современных детей, тем более что многие из них действительно помогают их быстрому развитию, но когда я вижу десятки мягких зайчиков и лисичек, собачек и кошечек, в беспорядке раскинутых по полу или по кровати, на которой не остается места самому ребенку, я спрашиваю себя, могут ли они испытывать такие же сильные чувства к любому из своих зверьков, какие питала я к своему Тобику.

Во дворе появились первые дети из семей, возвратившихся из эвакуации из Ташкента. Они выходили во двор, доедавая невиданные нами яблоки, и кидали огрызки на землю. Мы умирали от желания

поднять их и съесть, но это было стыдно. Мы прятались в подвале и ждали, пока во дворе никого не останется, а потом голодными зверьками кидались на эти огрызки. На всю жизнь я помню блаженный аромат и неземную вкусноту чего-то дотоле неведомого, оказавшегося в моем рту вперемешку с землей. Мы обглаживали огрызки до самого черенка, проглатывали все вместе с косточками. Я до сих пор съедаю в яблоке все. Не могу себя заставить выбросить огрызок. И хлеб не выбрасываю. Даже если он очень черствый или заплесневелый. Только срезу самые заплесневелые места и поджарю все на подсолнечном масле. Так ведут себя все блокадники. Недавно я опозорилась. Пришла поздно уставшая с работы, увидела совсем испорченный и надкушенный кусочек хлеба и малодушно выкинула его в мусорное ведро. На следующий день увидела у себя на столе записку от Марины: «Любаша! Я увидела, что ты выкинула кусок хлеба! Как тебе не стыдно!!! Забыла блокаду???» Они с мужем врачи и рано ложатся спать, а я часто прихожу домой поздно. Утром всем некогда разговаривать. Вот мы с сестрой и оставляем частенько друг другу записки. А от этой записки мне действительно стало стыдно.

Вообще надо сказать, что к хлебу у нас дома всегда было особое отношение. Не разрешалось оставлять надкушенные куски и тем более выбрасывать недоеденный хлеб. Наверно, это было следствие печального опыта взрослых, полученного во времена Гражданской войны. Чтобы нас напугать, бабушка говорила, что, если выкинешь хлеб, начнется война. У меня почему-то был плохой аппетит, и, как назло, я все-таки выкинула потихоньку кусочек хлеба накануне начала войны. А Лелька разбил зеркало, что тоже считалось плохой приметой. Первые дни войны мы ходили притихшие, всерьез думали, что война началась из-за нас, и ждали неминуемой кары. Она все не наступала, и мы потихоньку успокоились... Кара, видимо, все же пришла несколько позже в обличии образа Голодной смерти, которой нам, к счастью, удалось избежать.

Когда впоследствии я часто работала летом во время отпуска в археологических экспедициях, чтобы

подзаработать немножко денег, то мой приезд и приезд моих приятелей, тоже блокадников, экспедиция всегда встречала словами: «Опять проклятые блокадники приехали! Ничего выкидывать не дадут!!!»

И еще новое незабываемое вкусовое впечатление 44-го года – наливающийся на язык яичный порошок, который можно было долго рассасывать, перекачивать во рту от одной щеки к другой и который оставлял после себя божественное послевкусие. Яичный порошок нам, конечно, просто так не давали, но мы ухитрялись засунуть язык в банку, как только мама, которая пыталась сделать из него омлет, отворачивалась и теряла бдительность. Яичный порошок, американскую тушенку и другие продукты посылали союзники в качестве гуманитарной помощи, а английский морской конвой доставлял все это в Мурманск. Несколько лет тому назад мы с мужем оказались 8 мая в Лондоне и пошли посмотреть, как англичане отмечают День Победы. Собственно, никакого праздника мы не увидели. Какая-то очень формальная малочисленная процессия прошла по Whitehall, а около монумента, установленного посреди улицы в честь победы над фашизмом, возложили паршивенькие однотипные веночки. Но! Но!! Но!!! Когда мы стояли с друзьями около этих веночков, недоумевая по поводу их невыразительности и отсутствия всеобщего ликования, к монументу подошли молодые мужчины, одетые в морскую форму. Кто бы мог подумать, что это были те самые моряки из Морского конвоя, которые доставляли во время войны в Мурманск продовольствие для голодающего населения Ленинграда и других городов. Мы кинулись им на шею, расцеловались, объяснили, что мы выжившие блокадники, что мы помним все те дары, которые доставались нам благодаря их самоотверженным походам к Мурманску в военные годы. И они, и мы были очень взволнованы этой встречей, а наш вполне здоровый вид и восторженная благодарность, которую мы бурно изъясляли, были, по-моему, им лучшей наградой в этот скромно отмечаемый в Англии День Победы.

После войны в Ленинграде было много немецких военнопленных. Они работали на стройках,

восстанавливали разрушенный их же бомбежками город. Недалеко от ЦПКиО ими были выстроены целые жилые кварталы из добротных коттеджей, которые существуют и по сей день. Кормили их, наверно, достаточно скудно, в городе и для своего-то населения продуктов было не густо. Впечатление они производили самое печальное. С серыми лицами, потухшими глазами. Как ни странно, законная волна ненависти к ним не поднималась в наших душах. Во всяком случае, у нас, детей.

Зная, как тяжело быть голодными, мы жалели их и приносили им хлеб. Мой муж рассказывал, что ребята с их двора (шпана с Петроградской стороны) делали то же самое, что не мешало им бегать смотреть с восторгом на повешенных немцев около кинотеатра «Гигант».

У русских вообще душа очень отходчивая и сострадательная. Едет какой-нибудь вдрызг пьяный мужик в трамвае, заснет, а тетки начинают суетиться, беспокоиться, не проехал ли он свою остановку, станут будить, совать ему обретенную шапку. Уморился ведь, бедолага.

Наш национальный характер иногда доводит нас до самоуничтожения. Почему-то иностранцы представляются нам как люди высшей категории. И через какое-то время после войны к немцам стали опять относиться с нашенским пиететом, особенно к туристам, которые привозили валюту. Дошло до полного позора. Мои родители со своими друзьями по блокаде каждый год отмечали снятие блокады в «Европе на крыше», как назывался верхний зал ресторана «Европейская». В очередной раз, когда они собрались идти отпраздновать этот день, их туда не пустили, потому что... там пировали немцы!

Воистину, странный мы народ. Себя не уважаем, не ценим, не любим. В России, как нигде, умеют любить только мертвых. И так во веки веков. Всех, кто мыслит, творит, созидает, или убивают, или выталкивают из страны. И так со времен Ивана Грозного.

Через много лет после войны вспомнили про ветеранов войны и блокадников. Мы теперь имеем ряд привилегий при покупке лекарств, проезде в транспорте, оплате коммунальных расходов, размере пенсии.



Это приятно, но мне кажется это даже излишним. Мы вытащили счастливый билет – выжили в чудовищных условиях ленинградской блокады. Чего же еще желать.

А когда я получаю в День Победы письмо с факсимильной подписью президента Дмитрия Медведева или губернатора Петербурга Валентины Матвиенко с поздравлением и благодарностью за МОЙ ВКЛАД в победу над фашизмом, я думаю, что ничего не изменилось в нашем государстве. Власть имущие даже не дают себе труд сделать списки людей по дням рождения, чтобы понять, что получать такой текст блокадным детям, которым в годы войны было четыре года, просто оскорбительно.

И еще: я никогда не задумывалась, могла ли быть другая судьба у города. За что заплатили своими жизнями миллион гражданского населения Ленинграда? Впервые этот вопрос я услышала от одного знакомого в Праге, где я работала в конце семидесятых годов в Институте макромолекулярной химии. Этот человек предположил, что если бы в Ленинград вошли немцы, то гражданское население не пострадало бы так сильно. Та мысль показалась мне такой кощунственной, что как только я вернулась домой, я сразу кинулась к маме, чтобы спросить ее, что она думает о такой альтернативе,



Лондон, 9 мая 2006 года.  
Я с мужем и с английским ветераном войны из морского конвоя

были ли у них мысли о возможной сдаче Ленинграда? Или народ действительно был готов умереть, но не пустить немцев в свой город, как это сделали французы, открыв ворота Парижа ненавистным «бошам».

Но мама сказала, что в начале войны у них и в мыслях такого не было, а во время блокады голод совершенно подавлял способность аналитически мыслить. Они жили, как сомнамбулы, делая только минимум необходимого.

Когда очередной раз мы, выжившие дети блокадного Ленинграда, встретились за столом в честь сня-

тия блокады, я задала этот вопрос своим сверстникам и предложила по очереди ответить на вопрос, как бы они решили судьбу города, окажись мы в такой ситуации сегодня, и получила однозначный ответ от всех: ленинградцы и сегодня не сдали бы город.

Справедливости ради надо заметить, что так ответили люди моего поколения. Не уверена, что так же ответила бы сегодняшняя молодежь, очень прагматичная и выросшая в совсем иное время...

Я часто рассказывала всякие истории из своей жизни нашей внучке, Женечке. Как-то раз, будучи еще совсем маленькой, она приставала ко мне с вопросами, требуя очередного рассказа. Я отнекивалась, говоря, что я ей уже все рассказала, но все же спросила, о чем бы она хотела опять услышать. «Расскажи мне про войну» – попросила она. «Зачем про войну?» – удивилась я. «Чтобы знать, как выжить», – был ответ. Признаться, я оторопела. Бедные русские дети! Это у них уже на генетическом уровне – выжить! Не жить, а выжить!

Дай-то бог, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки, все люди, живущие на земле, просто ЖИЛИ, жили бы нормальной человеческой жизнью, в которой и без войн хватает своих горестей и проблем.

## Прорыв блокады Ленинграда и его экономические последствия

А. В. Зотова

После прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года ленинградская экономика начала заметно оживать.

По сравнению с 1942 годом на предприятиях оборонной промышленности выпуск валовой продукции увеличился на 93%, а на предприятиях местной промышленности даже на 137%<sup>1</sup>. Правда, это составляло лишь 18% от довоенных объемов производства города<sup>2</sup>.

Но успехи все равно были. Не работавшие еще в 1942 году, возобновили деятельность еще недавно законсервированные

85 государственных предприятий Ленинграда. В результате валовая продукция городских предприятий в 1943 г. составила 2512 млн руб. против 1414,5 млн руб. в 1942 году. Это означало, что объем продукции ленинградских предприятий в 1943 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 77,5%.

После прорыва блокады все работавшие 931 промышленное предприятие выполнили годовой план на 106,2%<sup>3</sup>.

Во многом это было связано с тем, что во второй половине 1942 года экономика Ленинграда

пережила значительный перелом: промышленные предприятия и вся хозяйственная система города сумели выработать такой алгоритм действий, при котором соблюдался баланс жизнеобеспечения и выполнения производственных заданий, полученных ленинградской экономикой от государства.

Еще до прорыва блокады в Ленинграде сформировался такой экономический ресурс, который дал ему возможность быть не дотационным регионом воюющей страны, а крупным центром поставки фронту всего необходимого.